

Самуил ЛУРЬЕ

**НЕЧТО И ВЗГЛЯД**

(Новые трактаты для А.)

ПУШКИНСКИЙ ФОНД

Санкт-Петербург

MMIV





Самуил ЛУРЬЕ

**НЕЧТО И ВЗГЛЯД**

(Новые трактаты для А.)

ПУШКИНСКИЙ ФОНД

Санкт-Петербург

MMIV

**ББК 84. Р7**  
**Л 86**

**Марка издательства работы**  
*Сергея Семенова*

**ISBN 5-89803-134-0**

**© С. Лурье, 2004**

## **КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОКСЮМОРОНА «ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ»**

До 16-го, кажется, мая 99 года я, как и все, думал, что В.В. сам изобрел этот отравленный укол (действие яда, между прочим, ослабеваает: привыкли; того гляди, улетучится из набоковского заглавия тайна, как это сделалось с «Мертвыми душами»). А вечером упомянутого числа, мечтая нечто сочинить про совсем другое, о другом авторе, перечитал еще третьего — и нашел чего не искал, и рад случайной удаче.

Отныне я, счастливчик этакий, вправе надеяться, что когда-нибудь, в каких-нибудь очень обстоятельных комментариях к знаменитому роману мелькнет и моя невидимая тень.

Это будет выглядеть примерно так:

«NN предположил, что название романа «Приглашение на казнь» (в дальнейшем — ПНК) восходит к сцене такой-то из пьесы В. Шекспира (английский драматург, — и вот вам даты рождения и смерти) «Мера за меру» (написана в таком-то году, первое представление — в таком-то). Учитывая схо-

дство некоторых оборотов, а также страсть автора ПНК к тайным цитатам — и к Шекспиру — а еще к А. С. Пушкину (русский поэт, родился и скончался тогда-то и тогда-то, а в промежутке создал среди других произведений стихотворную трагедию «Анжело» — не то перевод, не то переделку, не то перевод французской переделки Шекспировой «Меры за меру»), — данную гипотезу можно признать не лишенной известного правдоподобия».

Не исключено, что, расщедрившись, комментатор приложит к примечанию цитату из этой самой третьей сцены четвертого акта «Меры за меру» — в переводе, скорей всего, Т. Щепкиной-Куперник.

П о м п е й

Господин Бернардин! Вставайте да пожалуйста вешаться. Господин Бернардин!

С т р а ш и л о

Эй, Бернардин!

Б е р н а р д и н (за сценой)

Чума на ваши глотки! Что вы так разорались? Кто там такой?

П о м п е й

Ваш друг, сударь, палач! Будьте любезны, сударь, вставайте, пожалуйста, на казнь.

Б е р н а р д и н

К черту, мерзавцы! Я спать хочу.

С т р а ш и л о

Скажи ему, чтобы вставал, да живее.

П о м п е й

Прошу вас, сударь, проснитесь, вставайте. Вас только казнят, а там и спите себе дальше.

(Ну что, читатели ПНК? Согласны, что наш оксюморон — из этого облака яркой пыли? А эти

шуты на ролях исполнителей приговоров... Правда, Бернардин этот совсем не похож на Цинциннату — по крайней мере, на первый взгляд.)

Страшило

Пойди да приведи его сюда!

Помпей

Да он сам идет: я слышу, под ним солома зашуршала.

Страшило

Топор на плахе, малый?

Помпей

Все в полной готовности, сударь.

*Входит Бернардин*

Бернардин

Здорово, Страшило! Что у вас тут такое?

Страшило

А вот что, сударь: сотворите-ка молитву, приговор получен.

Бернардин

Ах вы, мошенник, да я всю ночь пропьянствовал и совсем к смерти не готов.

Помпей

Тем лучше, сударь: если кто всю ночь пропьянствовал, а наутро его повесят, так у него по крайней мере будет время проспаться.

Страшило

Смотрите-ка, вот и ваш духовник идет, Вы видите, что на этот раз мы не шутим?

*Входит герцог в монашеском одеянии, как прежде.*

Герцог

Я узнал, что ты скоро покидаешь этот мир, Мое милосердие повелевает мне напутствовать тебя, утешить и помолиться вместе с тобой.



Б е р н а р д и н

Брось, монах! Я всю ночь пропьянствовал, и мне нужно время, чтобы подготовиться к смерти как следует. Да пусть мне хоть мозги из головы дубинами вышибут, не согласен я сегодня помирать, и дело с концом.

Г е р ц о г

Смерть неизбежна. Я молю тебя —  
Ты о пути подумай предстоящем.

Б е р н а р д и н

Клятву даю: никому не удастся меня уговорить, чтобы я умер сегодня.

Г е р ц о г

Но выслушай...

Б е р н а р д и н

И не подумаю. Если вам нужно мне что-нибудь сказать — милости прошу ко мне в нору; я сегодня из нее шагу не сделаю. (*Уходит.*)

Г е р ц о г

Такой, как он, ни к жизни не годится,  
Ни к смерти. Это каменное сердце.

(... Помните? «— Ты все-таки какой-то бессердечный, — сказал м-сье Пьер, вздохнув...»

А «смерть неизбежна» — заметили? Прямо эпиграф к «Дару» цитирует этот Герцог!)

Ну вот. А все, что будет написано дальше, — только послесловие, только примечание к воображаемому примечанию.

Черт догадал Джамбаттисту Джиральди Чинтио в 1504 году родиться в Италии с душой, но без литературного таланта. Его угораздило вдобавок по окончании Феррарского университета оказаться в Риме

как раз в минуту роковую: в мае 1527-го, когда войска императора Карла V проводили там — выразимся теперешним официальным слогом — жесткую зачистку. На стогнах Вечного Города резвился пуще любого карнавала такой погром, что по сравнению с ним Варфоломеевская ночь, о которой Джиральди услышал (если успел услышать) накануне кончины, показалась бы простой проверкой паспортного режима.

Потому что тут не было ни религиозной распри, ни межнациональной розни; политика не участвовала, идеология отсутствовала, война сидела на цепи.

Да сорвалась, в том-то и дело. Армия отказалась подчиниться условиям мирного договора, заключенного между императором и папой 15 марта: не с пустыми же руками покидать благодатную Италию! Пехотинцам платили меньше четырех гульденов в месяц, конникам — двенадцать. Немцев ожидала на родине Крестьянская война, испанцам тоже не светило ничего хорошего. Сорок тысяч наемников, испанских и немецких, пошли на Рим; командовал бывший коннетабль Франции Карл Бурбон; зная, что город практически беззащитен (менее чем трехтысячный гарнизон), шли грабить и насиловать, вообще — отдохнуть активно. На рассвете 6 мая начался штурм — знаменитый Бенвенуто Челлини уверяет, между прочим, что лично, выстрелом из аркебузы, уложил Карла Бурбона, — днем еще загорались то там, то здесь уличные бои, — а последующие несколько недель были сплошной кровавый пикник, свирепые каникулы. Сорок тысяч громили (все европейцы, большинство — католики) под девизом «все дозволено!» лютуют и пируют среди святых — подобного зрелища тогдашний цивилизованный мир не видывал тысячу лет.

(Массы привыкли уже думать, что на дворе — христианская эра, интеллигенты воображали —

эпоха Возрождения! Sacco di Roma — разграбление Рима в мае 1527 года — надолго выколотило из человечества эти мечты.)

Упомянутый мессир Бенвенуто Челлини любовался им с наиболее выгодной точки — с верхней площадки замка Святого Ангела, наводя на скопления пришельцев порученные ему пять орудий — одно за другим: полупушку, полукулеврину, два фальконета, еще какое-то. Ему чрезвычайно нравилось стрелять, к тому же цитадель оставалась пока неприступной, так что можно было позволить себе эстетический взгляд — по крайней мере, ночью:

«Когда настала ночь и враги вступили в Рим, мы, которые были в замке, особенно я, который всегда любил видеть новое, стоял и смотрел на эту неописуемую новизну и пожар; те, кто был в любом другом месте, кроме замка, не могли этого ни видеть, ни вообразить. Однако я не стану этого описывать...»

Где укрывался и что пережил в те ночи, а особенно — в те дни, мессир Джиральди Чинтио — приходится только гадать. Приходится — поскольку несомненно: что-то случилось.

Но что именно — никто никогда не узнает, поэтому ограничимся констатацией последствий. Молодой теоретик права, насмотревшись на столь роскошную практику силы, приуныл навсегда. Он сделался мизантропом и меланхоликом, этот феррарский дворянин, — и стал графоманом.

Через год он принялся за книгу и сочинял ее почти всю жизнь, — впрочем, только в свободное время: постоянно отвлекался ради других произведений, а также преподавал философию и медицину в разных университетах; к тому же долго был секретарем феррарского герцога — Эрколе II д'Эсте...

Короче говоря, «Сто сказаний» («Ecatommiti» — греч.) Джиральди вышли в свет в 1565 году в Ман-

туе. Но действие обрамляющей новеллы привязано к 1528-му и начинается в разграбленном Риме. Там, видите ли, объявилась еще и чума. И вот несколько кавалеров и дам, спасаясь от Черной смерти, отплывают в Марсель. А на корабле, конечно, рассказывают по кругу занимательные истории.

То есть это как бы еще один «Декамерон», только очень угрюмый. Сюжеты сплошь уголовные, причем о преступлениях таких громоздких, что судебный приговор, самый что ни на есть законный, не утоляет нашу тоску о справедливости. Там есть, например, новелла (Седьмая в Третьей декаде) о венецианском военачальнике, по происхождению мавре, который вместе с одним прапорщиком — и подстрекаемый им — забил насмерть свою жену, прелестную и верную. Точней, убивал прапорщик (орудие убийства — чулок, наполненный песком), а мавр обрушил на труп жены потолок, чтобы все подумали: несчастный случай. Действительно — уличить злодеев суд не сумел, даже пытка не помогла. Оба впоследствии погибли, — но Богу пришлось пренебречь законодательством Республики, чтобы отомстить за невинность Диздемоны (sic!).

А в новелле Пятой декады Восьмой божественную справедливость (в смысле буквальном, то есть «Мне отмщение, и Аз воздам») проводит в жизнь император Священной Римской империи германской нации Максимилиан (правил в 1493–1519 гг.). Хотя все начинается с его же кадровой ошибки: «назначил губернатором Инсбрука одного своего приближенного по имени Джуристе». (Перевод А. Габричевского; не могу отделаться от подозрения, что имя персонажа — на самом деле прозвище, типа Законник.)

И дал ему пространный наказ: «...чтобы ты нерушимо и свято соблюдал правосудие... Никакое

нарушение справедливости не получит у меня прощения» и т. д.

Так себе человек был этот самый Джуристе — подхалим и карьерист. Однако же в новой должности проявил себя хорошо и городом управлял как следует, пока не случилось ЧП. Кстати — ходит такой слух, что Джиральди Чинтио извлек эту фабулу из какого-то судебного архива. Пересказывать ее, сами увидите, глупо, так что приготовьтесь к огромным цитатам.

«Случилось, что один тамошний юноша по имени Вьео изнасиловал одну юную гражданку Инсбрука, на что поступила жалоба к Джуристе, который тотчас же приказал его задержать и, после того, как юноша признался в насилии, совершенном им над девицей, приговорил его к отсечению головы согласно закону этого города, требовавшему подобного наказания для преступника этого рода даже в том случае, если бы он согласился жениться на своей жертве».

Замечаете, как излагает? Текст сугубо юридический. Приговор постановлен и должен вступить в законную силу. Но тут — неожиданная апелляция, и над уже решенным судебным делом громоздятся обстоятельства нового, более сложного.

«У юноши была сестра, невинная девушка, не достигшая восемнадцатилетнего возраста, которая, помимо того, что блистала исключительной красотой, обладала нежнейшим голосом, и прелестный облик сочетался в ней с женственной целомудренностью. Эпития — так звали ее, — услышав, что ее брат приговорен к смерти, сраженная тягчайшим горем, решила попробовать, не удастся ли ей если не спасти его, то по крайней мере смягчить наказание. А так как они вместе с братом выросли под надзором одного старца, которого отец держал в доме, чтобы он преподавал им философию...»

Это нужно, чтобы мотивировать высокий теоретический уровень дальнейшей дискуссии; мотивировка слегка хромает: отчего, казалось бы, если получено такое образование, брату юрист-девицы самому не постоять за себя? — и Чинтио поясняет в скобках:

«... (как видно, брат ее плохо сумел этим воспользоваться), она отправилась к Джуристе и попросила его сжалиться над братом, приняв во внимание...»

Итак, доводы защиты:

«... и нежный его возраст, ибо ему еще не исполнилось шестнадцати лет, и его неопытность, и любовное томление, подстрекавшее его к насилию. Она доказывала ему, что, по мнению величайших мудрецов, прелюбодеяние, совершенное из любви, а не для оскорбления, заслуживает меньшей кары, чем ее заслуживает оскорбитель, и что это как раз относится к случаю ее брата... ко всему прочему, он, для искупления совершенного им проступка, готов жениться на этой девушке... И она полагает, что такой закон был установлен скорее для устрашения, чем для его соблюдения, ибо ей кажется жестоким карать смертью такой грех, который может быть достойно и свято искуплен к полному удовлетворению пострадавшего...»

Всегда и все в новеллах Чинтио общаются как в зале суда на открытом процессе. Разумеется, и наш Джуристе отвечает Эпитии в том же духе и отменяет ухищрения, — но это все ерунда. Он заворочен ее лицом и голосом (см. выше словесный портрет). Повествование оборачивается обвинительным актом:

«Ужаленный сладострастной похотью, он задумал совершить над ней то, за что приговорил Вьео к смерти!»

Он обнадеживает ее: дескать, надо все хорошенько обдумать (она бежит в тюрьму и обнадежи-

вает брата), но при следующей встрече формулирует свою позицию без затей.

«— Я по закону не могу проявить к нему милосердия. Правда, что касается тебя, которой я хотел бы угодить, то, если ты (раз ты уж так любишь своего брата) захочешь ублаготворить меня собою, я готов даровать тебе его жизнь и заменить смертный приговор менее тяжким наказанием».

Коррупция в чистом виде — во всей силе своего инструментария. Далее — настоящий торг, словно речь — о взятке обыкновенной. Но с подтекстом похабным:

«На эти слова Эпития вся вспыхнула и сказала ему:

— Жизнь моего брата мне очень дорога, но куда дороже мне моя честь, и я скорее готова спасти его ценой своей жизни, чем ценою своей чести, поэтому бросьте эту бесчестную мысль. Но если я любой другой ценой могу вернуть себе брата, я это очень охотно сделаю.

— Иного пути нет, — сказал Джуристе, — кроме того, который я тебе назвал, и напрасно ты этим брезгуешь, ведь легко может случиться, что первые же наши встречи будут таковы, что ты сделаешься моей женой.

— Не хочу, — сказала Эпития, — ставить свою честь под угрозу.

— Почему под угрозу? — возразил Джуристе. Быть может, ты сама еще не представляешь себе того, что должно с тобою случиться. Хорошенько об этом подумай» и т. д.

Срок — сутки. Эпития уходит, бросив решительное «нет», однако же с оговоркой — «если вы на мне не женитесь». Заключение брата на свидании в тюрьме окончательно сбивает ее с толку. Она-то к нему разлетелась: не правда ли, ты пред-

почтешь умереть, чем такой позор? А изнеженный мальчишка — в слезы и ну «умолять сестру не соглашаться на его смерть (*Формулировочка-то! психолог этот Вьео! тоже, выходит, из лекций крепостного гувернера кое-что почерпнул. — С. Л.*), раз она может спасти его тем способом, который ей предложил Джуристе». (Безжалостное какое уточнение про способ; это не голос мальчишки — это скрип феррарской сухой иглы.)

Короче, возвратимся к протоколу:

«...на следующий день отправилась к Джуристе и сказала ему, что надежда, которую он ей подал, обещав на ней жениться после первых же объятий...»

Ссылка, вы понимаете, нарочито некорректная.

«...и желание освободить брата не только от смерти, но и от всякого другого наказания...»

Ставки растут!

«...заставляют ее полностью отдаться в его власть, и что она охотно это делает ради того и другого, но прежде всего требует, чтобы он обещал ей жизнь и свободу брата.

Джуристе, считая себя бесконечно счастливее любого человека, так как ему предстояло насладиться такой красивой и милой девушкой (*Вроде как чувства играют! а не то что холодные руки, ясная голова. — С. Л.*), сказал ей, что он подтверждает прежнее свое обещание (*Оборот, однако ж, безукоризненный. — С. Л.*) и что он вернет ей (*Слушайте! слушайте! — С. Л.*) освобожденного из тюрьмы брата на следующее же утро после ночи, которую она с ним проведет.

И вот, поужинав вместе, Джуристе и Эпития легли в постель, и злодей получил от нее полное наслаждение, но, прежде чем лечь с девушкой, он вместо того, чтобы освободить Вьео, приказал немедленно отрубить ему голову».



Я же говорил: тот еще тип. Прежде, прежде чем лечь — обратите внимание, — распорядился, до! Что-бы, значит, не передумать, развежившись? Или для вкуса: вот ты, дескать, стараешься тут ради братца — старайся, надейся... знала бы ты, каков он сейчас.

Или еще как-нибудь так рассуждал, юрист растленный: уступаю страсти, но не поступаюсь принципами; главное — диктатура закона; ну а девушки — а девушки потом.

«Наутро Эпития, вырвавшись из объятий Джуристе, стала в самых нежных выражениях просить его, не соблаговолит ли он оправдать ту надежду на брак, которую он в нее вселил, и прежде всего прислать к ней освобожденного брата. Он ей ответил, что их встреча была ему очень дорога, что ему очень приятно видеть ее исполненной надежды, которую он ей подал, и что он пришлет ей брата домой. И тут же вызвал тюремщика и приказал ему:

— Иди в тюрьму, выведи оттуда брата этой женщины и приведи его к ней в дом.

Эпития, услышав это, исполненная великой радости, пошла домой... Тюремщик, положив тело Вьео на носилки, а его голову к ногам, и покрыв все черным пологом, сам возглавляя шествие, приказал нести его к Эпитии; войдя к ней в дом и вызвав ее, он сказал:

— Вот ваш брат, освобожденный из тюрьмы, которого посылает вам синьор губернатор.

И с этими словами он велел открыть носилки и показал ей брата в том виде, о котором вы слышали».

(Ср., кстати, Зоценко, «Историю болезни»: «...выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать».)

Обещание сдержано с особым цинизмом — буква в букву. И вот перед Эпитией проблема: как осуществить возмездие, справедливое вполне — такое, что-

бы ни одна душа, ничей ум не усомнились бы: преступник получил в точности по заслугам, стрелка весов опять замерла на нуле? ...Собственноручно убить негодяя? Дождаться, например, когда он снова придет за нею, и зарезать ночью, спящего или бодрствующего... Но тогда могут подумать, «что она, как женщина бесчестная, а потому готовая на всякое зло, совершила это скорее в порыве гнева и негодования, чем в отместку за его вероломство. Поэтому, зная, как велика справедливость императора... она решила к нему отправиться и пожаловаться его величеству на неблагодарность и несправедливость...»

Справедливость — несправедливость... прямо в глазах рябит.

Опустим поездку героини, да и суд императора. Важна только развязка — удивительная. Приговор Максимилиана не обманул ожиданий Эпитии: Джуристе должен жениться на ней — чтобы вернуть ей честь, — и тотчас после венчания принять смерть от руки палача — за преступления, состав которых обозначен безупречно, — более правосудного решения, кажется, и придумать нельзя. Но это всего лишь человеческая справедливость, математическая, так сказать, — странную молодую особу она не устраивает... Послушаем Эпитию в последний раз:

«...Если, прежде чем стать его женой, я должна была желать, чтобы ваше величество его приговорили к смерти, как вы по справедливости и поступили, то теперь, после того, как я, по вашей милости, сочеталась с ним священными узами брака, если бы я согласилась на его смерть, я заслужила бы себе, на вечный мой позор, имя бесчувственной и жестокой женщины, что противоречило бы намерению вашего величества, которое в своем правосудии были блюстителем моей чести. Поэтому, священнейший император, дабы добрые намерения вашего величества

достигли своей цели и честь моя оставалась незапятнанной, я нижайше и почтительнейше молю вас не допустить, чтобы, повинувшись вашему приговору, меч правосудия безжалостно рассек те узы, которыми вы соблаговолили сочетать меня с Джуристе...»

Бессмертный образчик, если позволительно так сказать, римского правосознания. Но вот и первая нота для «Капитанской дочки»:

«...И если приговор вашего величества, осудивший его на смерть, был свидетельством вашей заботы о справедливости, то да соблаговолите вы сейчас, вернув мне его живым, явить свое милосердие, о чем снова горячо молю. Ибо, священнейший император, для того, кто правит вселенной, как достойнейшим образом правит ею ваше величество, не менее похвально проявлять милосердие, чем вершить правосудие: ведь правосудие показывает, что владыка, ненавидя пороки, карает их, милосердие же уподобляет его бессмертным богам!..»

Эту новеллу Джиральди Чинтио переделал в пьесу — в трагедию «Эпития» — говорят, очень слабую, как почти все его литературные труды.

В 1573-м он умер и скоро был позабыт.

В 1578-м в Англии тоже слабый, говорят, писатель и тоже незначительный — Дж. Уэтстон — воспользовался сюжетом нашей новеллы для двухчастной, десятиактной трагикомедии в прозе и рифмованных стихах; через несколько лет, в 1582-м вернулся к нему в сборнике рассказов. Он только переименовал имена: Эпитию назвал Кассандрой, Юриста — Промосом, — и страну (вместо Австрии — Венгрия), а также смягчил нравы: во-первых, брат героини не насильник, а просто соблазнитель; во-вторых, ему удастся избежать казни, так что в финале он вместе с сестрою просит короля помиловать развратного судью. Кро-

ме того, для сцены (до которой, впрочем, пьеса вроде не добралась) Уэтстон разбавил сюжет — отчего и вышло десять актов — многословной шутовской неразберихой, перебранками второстепенных — зато своих собственных! — действующих лиц...

Примерно в 1604-м Шекспир переписал пьесу Уэтстона, — и получилась «Мера за меру», странная, «мучительная» (эпитет Кольриджа) «комедия разочарований» (определение Даудена) — о том, что только смерть избавляет нас от страха смерти, отравляющего жизнь. Во всяком случае, лучшие и самые важные речи там — про это, все прочее — драматургия: персонажи хлопочут о справедливости, чтобы зритель не заснул.

А вот вставное лицо — некий Бернардин, которого девять, что ли, лет держат в тюрьме за какое-то ужасное, но неизвестное нам преступление, — один этот господин Бернардин, как мы видели, нисколько не боится смерти, словно бы и не верит в нее, — и остается, между прочим, в живых.

Тоже между прочим: это чуть ли не единственная шекспировская вещь, в которой упоминается Россия, — причем как!

Наскучив препирательством шутов — пьяного констебля с двумя задержанными, судья — он же ВРИО герцога Вены, он же, как нам известно, главный злодей, — вдруг, словно во сне, прерывает прозу белиберды следующими, невероятными тут, стихами:

Все это тянется, как ночь в России,  
Когда она всего длиннее там...

...Эту пьесу Александр Пушкин в 1833 году, оторвавшись на четыре дня от работы над «Медным всадником», переделал в поэму «Анджело». Поначалу собирался просто перевести, но передумал — переделал: выбросил шутов, и русскую ночь, и несколько

проржавелых драматических пружин — и один гениальный монолог, едва ли не самую мрачную Шекспирову страницу.

А может быть, все это проделал Латурнер — французский переводчик Шекспира: по крайней мере, Набоков утверждает, что без Латурнера Пушкин в Шекспире шагу не мог ступить.

(Точно так же надо еще проверить, кто именно — Шекспир или Уэтстон — выдумал господина Бернардина и кривляющихся шутов, обыгрывающих его равнодушие к смерти.)

Как бы то ни было, текст у Пушкина получился важный. Цензор Никитенко по приказанию министра Уварова его искажил, критик Белинский объявил безжизненным, — никто не вступился, — и Пушкин с грустью говорил одному приятелю:

— Наши критики не обратили внимания на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал.

Лучше не лучше, а каким-то неизъяснимым способом он поместил в чужой сюжет самые горькие из своих тайных мыслей — как распалает невинность — и о ревности, а также чего за гробом ожидаем, — и что страсть вообще-то прощительна...

Такая вот история. Темная! Кто в ней только не замешан! Генералы громят города, гении грабят графоманов... Ясно одно: Набоков не первый додумался до знаменитой зловещей шутки. Похоже, что и не додумался — присвоил.

Но я-то для чего — сам не возьму в толк — для чего развел туры на колесах, на цитаты изодрал бедного Джиральди? Всего-то и хотелось: намекнуть, что в 1934-м в Париже Набоков оттого написал ПНК — и так озаглавил, — что в Риме в 1527-м другой литератор пережил нечто ужасное.

Но это же очевидно!

## ЖЕСТОКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Авиньонские кружева. Настоящее европейское качество! Семь столетий как сплетены, а все еще не пыль: в набитом ею расписном сундуке различаются на ощупь.

### Сонет XXXVI:

Поверить бы, что смерть спасает от злой любви — только бы меня тут и видели! Но знаю, знаю, что это был бы только переход от слез к слезам, от муки — к новой муке. Так что — жизнь, прощай, — а дальше я ни шагу: роковая стрела достанет сама, мимо не пролетит, и слава Богу, в смысле — Амуру. Больше ни о чем его и не прошу, равно как и ту, что не пожалела для меня белил (по чьей милости я стал такой бледный): полно умолять глухих; разве такую броню пробьешь?

### Сонет CXVIII:

Вот уже и шестнадцать лет прошло, жизни осталось чуть. Но тяжесть на сердце такая, словно

беда стряслась вчера. Должно же все это когда-нибудь кончиться — какой угодно ценой, чем хуже, тем лучше (мне вред на пользу, горечь — майский мед), лишь бы изжить эту злую долю, — неужто это случится не прежде, чем смерть закроет моей Мадонне глаза? Вот я опять приехал — надо бы поскорей отсюда прочь — прежняя тоска овладевает — а я и рад. Совсем как тогда, обливаюсь слезами, — скажете, удивительно? ничего не поделаешь: все во мне переменилось — кроме меня самого.

### Сонет CCCLXIII:

Смерть погасила солнце. Зрение отдыхает. Та, что жгла и леденила, обратилась в прах. Увял мой лавр, оставив место вязу. Облегчающая боль: не о чем мечтать, нечего бояться, не на что надеяться, вот и от отчаяния сердце не разорвется; ничто уже не в силах ни ранить его, ни исцелить. Наконец-то свобода. Она сладостна, хоть и горька. Устав от жизни, но не сытый ею, возвращаюсь к Тому, Кто бровью движет небеса.

Не исключено, что никакой Лауры не было: от реальной дамы должна бы остаться в стихах мелочь какая-нибудь, побрякушка, цветная лента, прядь волос, тень голоса с тенью улыбки. Эта же составлена из красоты и добродетели: отталкивающий магнит, и больше ничего.

Но также допускаю, что — наоборот: была такая знакомая — и двадцать один год ждала, когда же Петрарка объяснится, признается, что действительно сгорает и что все эти шедевры самиздата — действительно про нее, как в купринском «Гранатовом браслете». А он, как в чеховской «Шуточке», ускользал.

В саду его литературы итальянская лирика была вроде как живая изгородь. Он исправно ее подстригал, но больше заботился о ценных породах плодовых деревьев — латинских.

И вообще держался как властитель дум, мудрец и мастер. Тираны его уважали как носителя классической культуры. Мол, так и передайте потомкам, мессер Франческо: в наше время умели ценить такого человека, как вы.

А стихи на «вольгаре» переписывала для себя интеллигентная молодежь, разные стилиаги вроде Боккаччо.

Но вот как получилось: личный сюжет затмил великие труды. Даже и скифам не все равно, кто кого там любил и какой именно любовью.

Петрарка тяготился своим временем, своим полом, вообще, как он говорил, — человеческим состоянием. Что вы хотите? Литератор:

«Чудно́ сказать: хочу писать и не знаю, что и кому писать, но все равно — жестокое удовольствие! — бумага, перо, чернила и бессонные ночи мне милее сна и отдыха. Да что там! Я не терзаюсь и не тоскую только когда пишу... Что делать, раз я не могу ни перестать писать, ни вытерпеть отдых?»

А прославился как один из величайших исполнителей роли человека.



## **Д. и Т. СВОЕЮ КРОВЬЮ**

Наитончайшие умы разобъяснили, задыхаясь, почему эту книгу должно почитать главной литературной удачей человечества. Нет на свете, — утверждают единогласно шлегели и гегели, — другого романа столь увлекательной глубины. Расходятся всего лишь в одном важном пункте: понимал ли сам автор, *что* сочинил? догадывался ли, к примеру, что заглавный герой — не идиот, а идеал? или сеньор Мигель Сервантес де Сааведра не знал такой печали — ограниченный началом семнадцатого века, не умел, как потомки-романтики, оплакать в Дон Кихоте — себя, Дон Кихота — в себе, и это как раз тот, особенно счастливый для шлегелей, случай, когда текст умней своего творца?

Нам ломать голову над такими вещами, слава богу, не приходится; в советском издании на последней странице красуется штамп: «Значение „Дон Кихота“ заключается в полном и ярком отображении жизни Испании на рубеже феодальной и капиталистической эпох»!

## Познавательная ценность

С этой точки видно далеко, причем ландшафт совершенно буколический. Везде следы довольства, кое-где — и труда, и никакая ужасная мысль не омрачает душу. Пронесется, сбивая с ног неосторожного путника, стада овец, быков, свиней, — стало быть, животноводство на подъеме. Вращаются крылья ветряных мельниц, колеса мельниц водяных, грохочут на сукновальне гидравлические молоты, — похоже, и с техникой все в порядке. Типография завалена работой; книги повсюду в большом ходу; две-три найдутся на первом попавшемся постоялом дворе; личная библиотека мелкопоместного дворянина включает около сотни томов; разговор о литературных новинках — обычный застольный; присовокупим сельскую художественную самодеятельность: хороводы козопасов и все такое. Культура, одним словом, процветает. Уровень материального достатка — соответственный: что-то незаметно, чтобы крестьяне жили впроголодь или работали до седьмого пота; и прямо-таки невероятно часто встречаются среди них несметные богачи. Люди других сословий тем паче не бедствуют; к тому же кое у кого есть родственники в Америке. Наконец, повсюду торжествует правосудие: каторжники, этапиремые на галеры, и те в один голос признают, что наказаны по заслугам; араб, и тот одобряет свое изгнание; действительно, говорит, нельзя было не выдворить меня, притом с семьей и без имущества, поскольку некоторые из лиц нашей национальности лелеяли преступные замыслы; доколе, говорит, могло королевство пригревать змею на своей груди... Недобитых евреев и неискренних выкрестов, с ними колдунов и фальшивомонетчиков жгут где-то за горизонтом, а на местах общественный

порядок поддерживают народные дружины — Святое Братство... Короче — данная энциклопедия испанской жизни исполнена в соцреалистическом ключе (наподобие, скажем, кинофильма «Кубанские казаки») — то-то и сделалась тотчас по выходе излюбленным чтивом слуг.

Внедренный в такие обстоятельства инопланетный полицейский робот выглядел бы уморительно даже в скафандре суперпрочном: без толку тратит энергию аккумуляторов и словарный запас. *Помогаю вдовицам, охраняю дев и оказываю помощь замужним, сырым и малолетним! Помогать беззащитным, мстить за обиженных и карать вероломных!* (Звучит как *точить ножи-ножницы!* или *починяю примус!* — но странным, печальным образом напоминает что-то совсем другое). Реклама потешная: помочь замужней, всем известно, средства нет! — и где же в Испании на рубеже феодальной и капиталистической эпох вы заметили сирого? Вот разве что этот подпасок, с которым не расплатился деревенский кулак. И неприятная история во втором томе: тоже кулацкий сынок свалил во Фландрию, дефлорировав дочь дуэньи. На всю эпопею — двое обиженных! И читателю верноподданному приятно сознавать, что в обоих случаях грамотный юридический совет пособил бы потерпевшим, уж наверное, успешней, чем копые юродивого.

## Стеклянная голова

А он и сам не зациклен, так сказать, на униженных-оскорбленных: не диссидент, не заступник народный, тем более не Гамлет какой-нибудь — далек от предвзятых идей типа что будто бы не то строй прогнул, не то век жестокосерд, или, там, Испа-

ния — тюрьма... Боже избави! В современности, благоустроенной Филиппом III и герцогом Лермой, — лишь одно не нравится Дон Кихоту: что она норовит обойтись без него.

Впрочем, он убежден, что это с ее стороны — притворство; что на самом деле все эти чужие люди, снующие мимо по каким-то якобы своим делам, — да и лодка у берега — и мельница на пригорке — существуют не сами по себе, а только чтобы подманить его и подать условный знак, — и всякий раз что-то мешает угадать, какого ответа ждут, какого жеста или поступка, — всякий раз не на того заносишь меч — призрак приключения, кривляясь, исчезает, — и опять барахтаешься в дорожной пыли, весь избитый, плюясь зубами.

Злой волшебник из глубины пространства с ним играет, словно бумажкой на веревочке: бумажка шуршит — Дон Кихот бросается в атаку — зрителям весело.

А читателю — еще веселей, причем его забава утонченней: для него черепная коробка героя прозрачна, словно стеклянная; отчетливо видно, как ум заходит за разум, реальность втесняется в другую реальность, — и вот под давлением воли очередная ошибка превращается в очередную глупость.

Скажем, проезжает ночью по дороге катафалк — пылают факелы, попы поют. Что везут покойника — безумец понимает, а ритуала не узнает — словно впервые видит эти одеяния, впервые слышит этот речитатив, — не приветствует, короче говоря, пресвятую католическую нашу мать, а, наоборот, оцетинивается.

«Он вообразил, что похоронные дроги — это траурная колесница, на которой везут тяжело раненного или же убитого рыцаря, и что отомстить за него суждено не кому-либо, а именно ему, Дон Кихоту; и вот,

не долго думая, он выпрямился в седле и, полный отваги и решимости, выехал на середину дороги...»

Смотрите, смотрите: вообразил, решился, уже действует, — но какой-то предохранитель в поврежденном мозгу еще не вышел из строя; спрашивает — в чем долг и кто враг!

«— По всем признакам вы являетесь обидчиком или же, наоборот, обиженными, и мне должно и необходимо это знать для того, чтобы наказать вас за совершенное вами злодеяние или же отомстить тем, кто совершил по отношению к вам какую-либо несправедливость».

Но у кого же хватит терпения вежливо сносить нелепые расспросы. Дон Кихоту, как обычно, хамят, — и он больше ни о чем не думает, а знай наносит удары.

## Рекорд мира

Признаюсь: эта его черта — щекотливость, или раздражительность, меня трогает: тут он непредсказуемо живой — сумасшедший неподдельный, простодушный, опасный: осмелитесь выказать ему хоть малейшее пренебрежение — или, хуже того, проговориться, что он смешон, или — от чего Боже вас сохрани — намекнуть, что у него не все дома, — какая мощь вдруг является у него в руках и голосе! какой он делается быстрый! разобьет вам голову на четыре части, как тому погонщику мулов — помните, на первом постоялом дворе? — и отвернется равнодушно.

Храбрость есть храбрость — пускай назойливо неуместная, — ничего, что исключительно рукопашная: с панической ненавистью ко всему огнестрельному... Восхищаться не обязательно, — а не уважать невозможно. (И не сострадать — связанному, в клетке.)

Но что в хорошем настроении он угощает собеседников замечательными речами о таких предметах, как военное искусство или, допустим, супружеское счастье, — это типичный авторский произвол. Это з/к Сервантес, обогатив свою память и так далее, почитает нужным при случае увековечить несколько общих мест — слогом, по-видимому, абсолютным.

Насколько в силах судить иностранец, и весь-то текст «Дон Кихота» — назло мадридской, сеvilьской, вальядолидской какой-нибудь литературной элите 1600-х — рекорд мира в прозе: вот вам! удостоверьтесь — всё, что угодно, можно сказать так, что лучше нельзя!

Но какой нос он им всем натянул! Под видом революции лубочного жанра — под видом пародии, затмившей все оригиналы, — написал про что хотел, — про самое смешное из самого главного — про то, что самое главное — оно-то и есть самое смешное.

## Катехизис

«— Все, сколько вас ни есть, — ни с места, до тех пор, пока все, сколько вас ни есть, не признают, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанчская императрица Дульсинея Тобосская!»

В рыцарском романе вздорный этот вызов читался бы как тривиальный (наподобие хода королевской пешки e2–e4) зачин боестолкновения, включающий заодно идейную мотивировку: чтобы не было похоже, например, на вооруженный грабеж. Вызов — он и есть вызов: сила задирает силу; не тезис, а ультиматум; но мы не в рыцарском романе, и так называемый здравый смысл чувствует себя в безопасности.

«— Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину».

За подобное контрпредложение какой-нибудь сэр Ланцелот или, допустим, Амадис Галльский залил бы кровью — чужой, своей — несколько ближайших страниц. Дон Кихот слышит издевку, но едва ли не сильнее раздосадован уверткой: какой интерес в игре, правила которой знаешь один? — вынужден напомнить — вернее, разъяснить:

«— Если я вам ее покажу, — возразил Дон Кихот, — то что вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить и стать на защиту...» —

— чуть ли не уговаривает; чуть не плача; спохватившись, приосанивается:

«...а не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд».

Ах, до чего умен был тот, кто заставил его проговориться в первый же рыцарский день! Поистине, сеньор Сервантес был чемпионом и пребудет королем литературной техники. «Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить и стать на защиту!» Это ведь не что иное, как программа Дон-Кихотовой судьбы. И отсылка к сочинениям отнюдь не куртуазным.

Вот, например, в Евангелии от Иоанна — упрек Иисуса Фоме: «ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие».

Или Павел учит в Послании к евреям: «Вера... есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».

И конечно, в любом катехизисе какого угодно века (мне, впрочем, попал под руку православный, столетней давности, богословский словарь) изъяснено, что вера не нуждается в доказательствах и несравненно выше умозаключений:

«Познание (само по себе) не имеет характера добродетели, так как оно невольно навязывается человеку при ознакомлении его со внешним миром; вера же есть добродетель (а вместе и обязанность)...»

Именно это самое и втолковывает Дон Кихот гогочущей толпе (шестеро шелкоторговцев, семеро слуг) на проселочной дороге.

Выходит, дело не в том, кто первая в мире красавица; даже и не в том, кто первый боец; безумие Дон Кихота куда глубже таких глупостей. Он требует соучастия, причем не понарошке, а по-настоящему: как в первосортном рыцарском романе, — и пусть каждый исполнит свою роль добросовестно. Веру ему подавай. То есть даже не просто примите на веру, а именно уверуйте — явно и несомненно подразумевается переживание, подобное религиозному, — не то изрублю в капусту. Прямо какое-то крещение Руси. Не так давно — в 1492 году — Испания примерно такую же альтернативу предложила своим иудеям.

И в дальнейшем, если разобраться, Дон Кихот только и делает, что воюет за веру — точнее, обращает неверных. Кого приглашает, кого понуждает (а ему — в лучшем случае — подыгрывают) разделить с ним почитание каких-то страшно важных для него ценностей — либо истин.

Спрашивается: каких? Вот он, угрожая мечом, приказывает этим самым шелкопрядам уверовать — во что? или: в кого? Неужто в императрицу Ламанчскую, лично им придуманную не далее как позавчера, притом исключительно как аксессуар



(у положительного героя наиболее завлекательных книг непременно имеются конь и дама)? Лет двенадцать назад был влюблен в крестьянскую девочку — при встрече не узнал бы в обветренной тетке, — отчего ему до смерти (чужой, своей) хочется, чтобы как можно больше посторонних искренне — искренне! — считали, что она и теперь всех румяней и белее? или чтобы, по крайности, верили — но тоже без тени сомнения, — что в этот ослепительный факт всем сердцем верует он...

### Про это и про то

Тут на плечи шлегелей вскакивают гейне-блоки, запальчиво лепеча: это любовь! Причем настоящая, то есть вечная и без пошлости, а не в сантиметровом диапазоне. Хорошему (в смысле — гениальному) мальчику странно и стыдно любить девочку (не имеет значения — какую) иначе как мечтательным проникновением в ее небесную сущность сквозь несказанно прекрасный образ. Да, взаимной такая любовь не бывает, счастливой тоже не назовешь, поскольку и эта сущность, и этот образ, открывшись внутреннему взору на миг, случайно: допустим, среди шумного бала (как если бы некто, поскользнувшись палец, стер мутный слой с переводной картинке), — тут же пропадают из виду. Но пусть вокруг по-прежнему дискотека, — мальчик-то изменился навсегда: теперь память о той минуте — источник его вдохновения; тщетные попытки пережить ее вновь — содержание участи; в споре с самим собой: померещилось или на самом деле случилось — решается смысл его жизни. Дон Кихот, поскольку не гений, ведет этот спор холодным оружием. Смейтесь над ним: тоже нашелся великий любовник —

под пятьдесят, хронический почечник, закрашивает зелеными чернилами заплаты на чулках. Но дайте срок — именно он, побитый шут, научит европейских поэтов новому культу Прекрасной Дамы.

С каким наслаждением выписывает Генрих Гейне слова, произнесенные Дон Кихотом в роковой момент, когда копьё врага уже приставлено к картонному забралу: «— Дульсинея Тобосская — самая прекрасная женщина в мире, а я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту истину. Вонзай же копьё свое, рыцарь, и отними у меня жизнь, ибо честь ты у меня уже отнял». Это ли, дескать, не бессмертный пример идеализма чувств.

Русский поэт зашел дальше — сам того не зная, приблизился к Дон Кихоту почти вплотную: в своей Прекрасной Даме сразу (правда, не без подсказки — не без влияния модных в его время философем) опознал Душу Мира и понял свою влюбленность как мистический контакт. По-нашему сказать — как Откровение. Получилась (помимо неизбежной человеческой драмы) трагическая лирика, описывающая сближение и разлад с профессорской дочкой разными богослужебными словами. Например: «Ты в поля отошла без возврата. Да святится имя Твое»...

Вы, наверное, удивитесь: Дон Кихот, посвящая окружающих в свои отношения с Дульсинеей, позволяет себе кощунства не менее дерзкие. «Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и ей обязан я жизнью и всем моим бытием», — говорит он Санчо Пансе, которому откуда же знать, что это переиначенная цитата из речи апостола Павла в афинском ареопаге: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем...»

Но духовные-то лица — в курсе. То-то они и выются за Дон Кихотом на протяжении всего пути —

бесчисленные каноники, священники, лиценциаты: экзаменуют, увещевают, обличают, противодействуют — и в конце добиваются своего. То-то и он питает к ним безотчетную ненависть и при каждом удобном случае — почему-то принимая людей в балахонах за бесов — наскокивает с копьем, как рассказано выше.

Однако даже и Санчо, при всей своей якобы простоте, чувствует: с этой пресловутой страстью Дон Кихота к Дульсинее что-то не так. Предмет (верней, прототип, толстяку известный) чересчур превознесен и приукрашен, — это как раз понятно: любящие все страдают куриной слепотой. Но тут и загвоздка: что за любовь, которой не нужно совсем ничего, — блаженствующая в безличности, — подобная поздравительной открытке без подписи, как бы от неизвестного? И не хочешь, а призадуматься: на самом-то деле — кто адресат?

«— Подобного рода любовью должно любить Господа Бога — такую я слышал проповедь, — сказал Санчо, — любить ради него самого, не надеясь на воздаяние и не из страха быть наказанным. Хотя, впрочем, я лично предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.

— Ах ты, черт тебя возьми! — воскликнул Дон Кихот. — Мужик, мужик, а какие умные вещи иной раз говоришь! Право, можно подумать, что ты с образованием».

Опять он выдал себя. Верней, опять — и в который уж раз — взглянул читателю прямо в глаза наш господин и учитель, Дон Мигель.

## Похищение Мадонны

Крайне неосторожный. Буквально играл с огнем. По правде говоря, уму непостижимо, как это

его не сожгли за последнюю сцену (тома первого, — но второй не планировался) — за последний, решительный, стало быть, бой Дон Кихота.

Разберем пару страничек, и я оставлю вас, дорогой читатель, в покое. Не злитесь: почти все трудности позади. Очень скоро вы будете приятно поражены, увидав, на каком крохотном блюдечке (с каемочкой, все как следует) уместится наше резюме.

А пока возвратимся в роман Сервантеса. Испания, конец июля, сельская местность, пикник на обочине. В сотне шагов от дороги, спустившейся тут в долину. В десятке шагов от ручья. В тени деревьев на шелковистой траве. Расстелен ковер. Конвоиры Дон Кихота — священник и цирюльник, а также примкнувший к ним каноник поглощают холодно-го кролика, запивая пироги вином. И Дон Кихот с ними: его выпустили из клетки под честное слово. Животные, стражники и слуги разбрелись по лугу. Солнце в зените. Часовня на ближнем холме.

Камера наезжает на пирующих, погружая нас в последний — не знаю, который по счету — диспут о рыцарских романах.

Каноник: «— О себе могу сказать, что пока я их читаю, не думая о том, что все это враки, что все это пустое, я еще получаю некоторое удовольствие, но как скоро я себе представляю, что это такое, то мне ничего не стоит хватить лучший из них об стену, а если б у меня в эту минуту горел огонь, я бы и в огонь их пошвырял, и они в самом деле заслуживают подобной казни, ибо все это выдумки и небылицы, и поведение их героев не соответствует природе вещей; ибо они создают новые секты и правила жизни...»

Дон Кихот: «— Уверять кого бы то ни было, что Амадис не существовал, а также все прочие искавшие приключений рыцари, коими полны страницы

романов, это все равно что пытаться доказывать, что солнце не светит, лед не холодит, а земля не держит... О себе могу сказать, что с тех пор, как я стал странствующим рыцарем, я храбр, любезен, щедр, благовоспитан, великодушен, учтив, дерзновенен, кроток, терпелив и покорно сношу и плен, и тяготы, и колдовство...»

Комическая перебивка: в кадр, откуда ни возмись, вбегает коза, за нею пастух. Ария пастуха: что-то вроде назидательной новеллы о непостоянстве женского пола. Легковерная Леандра бежала с солдатом — франтом и хвастуном; солдат обобрал ее и бросил, обесчестив. Теперь она заточена в монастыре, а ее поклонники — множество молодых зажиточных односельчан, в их числе и Эухеньо (так зовут нашего солиста), — не в силах забыть красоту неосмотрительной, с горя подались в козопасы. Отошли, так сказать, без возврата в поля. Развязка этой трагедии «еще не известна, но, по всей вероятности, будет печальной».

Слушатели растроганы. Аплодируют. Утешают беднягу. Выделяется баритон Дон Кихота. Мол, будь моя воля, увез бы я Леандру из монастыря «и отдал бы ее тебе, дабы ты поступил с нею по своему благоусмотрению, соблюдая, однако ж, законы рыцарства, воспреещающие чинить девицам какие бы то ни было обиды». Пауза. Козопас разглядывает новоявленного друга. Потом спрашивает у окружающих: кто этот человек такой странной наружности и который так чудно говорит? «— Кто же еще, как не достославный Дон Кихот Ламанчский, — с невозмутимым лицом отвечает цирюльник, — искоренитель зла, борец с неправдой, заступник девиц, пугалище великанов, победитель на ратном поле...»

Козопас дает понять, что на досуге читывал и он романы про шевальеров эррантов, — «но только

мне думается, что или ваша милость шутить изволит, или у этого господина в голове пусто».

Реакция любезного, благовоспитанного, учтивого, кроткого, терпеливого, покорного шевальера, как всегда, безупречна:

«— Ты изрядный негодяй, — сказал на это Дон Кихот, — и это ты пустоголовый и безмозглый болван, а у меня голова набита так, как она никогда не была набита у той распотаскушки и потаскушкиной дочери, которая произвела тебя на свет.

Перейдя от слов к делу, он схватил лежавший перед ним хлеб и, в бешенстве швырнув его прямо в лицо пастуху, разбил ему до крови нос...»

Потасовка. Зрители подпрыгивают от восторга и, хохоча, науськивают дерущихся.

Извините, я увлекся. Никак не доберусь до главного. Но каков темп событий!

И вот — внимание! — в самый разгар безобразия раздается звук трубы, «столь унылый, что все невольно повернули головы».

Средний план. С косогора спускается, направляясь к часовне, процессия в стиле не то Бергмана, не то Феллини. Люди в белых балахонах, завывая, хлещут себя бичами по плечам. Над толпой плывут носилки, на носилках стоит окутанная траурным покрывалом женская фигура. Латынь песнопений, шаги, стенания и прочие шумы.

Крупный план. Дон Кихот устремляется к Росинанту, надевает на него уздечку, отбирает у Санчо меч, вскакивает в седло, бьет пятками коню под бока.

Средний план: переполох среди спутников Дон Кихота.

Крупный план. Всадник мчится. Санчо в спину ему вопит:

«— Куда вы, сеньор Дон Кихот? Какие бесы в вас вселились и научают идти против нашей католи-

ческой веры? Да поймите же вы, прах меня возьми, что это процессия бичующихся и что сеньора, которую несут на подставке, это священный образ Пренепорочной Девы. Подумайте, сеньор, что вы делаете...»

И наконец, самая последняя речь Дон Кихота к толпе:

«— Нимало не медля, освободите прелестную эту сеньору, чьи слезы и грустный вид ясно показывают, что вы увозите ее насильно и что вы какое-то глубокое нанесли ей оскорбление, я же, пришедший в мир для того, чтобы искоренять подобные злодеяния, не позволю вам шагу ступить, пока, вступившись за нее, не возвращу ей желанной и заслуженной свободы».

Общий хохот, само собой. «Все пришли к заключению, что это сумасшедший, и покатались со смеху, каковой смех только подлил масла в огонь Дон-Кихотова гнева»... (Дальнейшее не занятно: Дон Кихот — мечом, Дон Кихота — палкой, он падает с коня — через шесть дней в бессознательном состоянии прибывает в родное село на повозке, влекомой волами, — прочие сведения гадательны, зато сохранилось несколько эпитафий.)

## Ключи

Не знаю, на что рассчитывал автор «Дон Кихота», обдумывая эту попытку вызволения Мадонны да еще приберегая для финала. Должно быть, подбадривал себя излюбленной латинской поговоркой: *stultorum infinitus est numerus* — количество глупцов неисчислимо. Авось не вникнут. А кто инстинктом дойдет — пусть соизволит изложить святейшей инквизиции внятно: чем, собственно, должен встревожить доброго католика такой эпизод,

в котором осмеиваемое лицо скатывается до святотатства, тем самым полностью разоблачая свое безумие и социальную непригодность? Внятно — вряд ли кто сумеет: закон перехода католичества — в качество ума. Риск, положим, остается, зато лет через триста — самое большее четыреста — понимающий человек получит удовольствие.

В самом деле, мы-то с вами умеем оценить эффект: над безумным потешаются безумные!

Причем с Дон Кихота взятки гладки, у него диагноз: позабыл код окружающей реальности, пытается воспользоваться ключом от совсем другой — не тут-то было. Принимает условности архаичного, примитивного жанра как законы истории либо природы или во всяком случае как руководство к действию, вот и не может взять в толк: существа в странных одеяниях, бормоча тарабарщину и за чем-то терзая себя до крови, тащат куда-то неподвижную женщину в трауре, — что это, если не похищение, причем с применением колдовства? Как же не воспрепятствовать? Вперед, Росинант!

А все остальные, видите ли, нормальны и благонадежны; происходящее толкуют адекватно: рутинное, но полезное мероприятие, направленное на повышение урожайности путем преодоления засухи. Кто же не знает: чтобы вызвать атмосферные осадки (говоря, как все, — «дабы Господь отверз двери милосердия своего и послал дождь»), единственно верное средство — толпой выволочь из церкви на солнцепек статую Его Матери, да и доставить в другую церковь, по пути коллективно истязая свой кожный покров.

Такой, значит, у этих людей — один на всех — ключ к реальности. По-другому вскрывает невидимую взаимосвязь фактов. В данное время и в данной стране употребляется как универсальный.



Однако не подлежит сомнению, что в глазах М. С. де Сааведры процессия бичующихся паломников — стадо Дон Кихотов, столь же нелепых, как и заглавный герой.

Как же так? Эти — верующие, а тот — сумасшедший... Не впадаем ли мы в научный, прости Господи, атеизм?

Я — нет, за М. С. не отвечу, а что касается Дон Кихота — он верует беззаветней всех, но в текст, для всех прочих не священный (любая вера есть вера в какой-то текст). И пребывает в нем, тщетно порываясь включить в него другой — так называемую действительность. Страдает цельностью сознания. Собственной жизнью отменяет литературу — копьём пишет лучший в мире роман. Про Дульсинею, разумеется.

Между прочим: современная фантастика произошла от рыцарского романа, унаследовав милитаризм, демонские чудеса и ревнивую неприязнь к религиозной вере. Она и погибнет, вероятно, такой же смертью: от гениальной пародии. Но это случится не прежде, чем фантастика выдумает читателя, способного погибнуть ради любви к ней.

## ГУЛЛИВЕР И ЛАСТОЧКА

### Часть первая: кофейный роман

Джонатан Свифт думал — и о нем думали, — что он говорит и пишет по-английски лучше всех.

Понимающие люди подтверждают: мол, так оно и было, насчет этого Черный Парик был прав.

С оговорочкой, понятно, с оговорочкой, а то и с двумя-тремя. Но Шекспира он, кажется, не читал (велекосноречивого, всеми забытого драмодела), мистера Дефо презирал (продажного лубочного моралиста), к полудюжине пишущих современников был снисходителен (Поуп, Гей, Шеридан, Арбетнот, Аддисон, Стил — кто еще? и кто из них все еще способен кого-нибудь растрогать, рассмешить, рассердить?) — а в разных там будущих Филдингов, Джойсов не верил, конечно.

А верил в свой гений: «... автор, что пишет лишь в расчете на свой город, провинцию, королевство или даже в расчете лишь на свой век, заслуживает быть переведенным на иностранный язык ничуть не больше, чем быть прочитанным на языке своем собственном».

Не знаю, не знаю. По-моему, немногого стоит и тот, кто ставит на славу в чужих веках и странах, — доктор Свифт довольно часто бросался парадоксами, ничуть не похожими на его настоящие мысли.

Дело не в этом. Смысл его жизни сожгла, наоборот, внезапная вспышка надежды на успех житейский, немедленный: здесь — то есть в Англии, точнее — в Лондоне; сейчас — в первой четверти восемнадцатого века.

Ни о чем таком особенном он не мечтал, в архиепископы Кентерберийские не метил, а всего только полагал, подобно впоследствии Пушкину, что обрел бы волю и покой, взамен доставив родине большую пользу, если бы только назначили его королевским историографом.

И нашлись чрезвычайно высокопоставленные покровители, которые не считали подобное назначение невозможным; вообще ничего не пожалели бы для умнейшего человека страны.

Такой был в свое время у Свифта негласный титул — тоже как у Пушкина. Царю Николаю I, помните, как импонировал пушкинский интеллект?

Да только царь лицемерил, — и граф Оксфорд, и виконт Болинброк тоже, разумеется, прекраснодушничали, а про себя-то каждый знал, кто на самом деле всех умней; совсем не обязательно тот, кто лучше излагает; пусть школьные наставники не различают ум и слог; а кому суждено, рано или поздно догадается: соподчинять слова — это одно, а людей — совсем другое дело.

Соподчинять людей Свифт не умел — только восхищать или раздражать. И поскольку был не игрок, а мыслящая пешка, то, в общем, и не проиграл партию: королева, по имени Анна, совсем, говорят, не умная, двумя пальцами взяла его с доски, взмахнула рукой... 1714-й, Свифту было сорок семь. И еще прежде чем он со стуком упал в даль-

нем углу королевства, началась его старость. Он провел ее «в слепой ярости, точно отравленная крыса под полом». Вот письмо 1729 года:

«Тяжелее всего вспоминать сцену пятидесятилетней давности, которая то и дело встает у меня перед глазами. Помню, что однажды, еще мальчишкой, я вдруг увидел, что удочка, с которой я стоял у реки, прогнулась под весом огромной рыбыны; я изо всех сил потянул ее на себя, но рыба сорвалась, и горе, которое я тогда испытал, преследует меня по сей день, мне почему-то кажется, что все мои последующие несчастья того же рода...»

Ничегошеньки, выходит, не понимал в своих несчастьях умнейший в целой Великобритании человек.

Надо же, как неудачно сложилась жизнь, подумать только: вместо придворной синекуры — церковная! Вместо Лондона — Дублин! Вместо двух или даже трех тысяч фунтов стерлингов — какие-то жалкие семьсот, только-только на быт без бед! Ах, скажите, до чего бессмысленная участь: не досталось написать историю царствования — с горя, со скуки сочинил «Путешествия Гулливера»!

Допускаю, впрочем, что все эти якобы нестерпимые угрызения оскорбленного честолюбия он расписывал для отвода глаз: не в силах скрыть, как ему скверно, скармливал общественности аппетитную, легкоусвояемую причину. Назло, и почти не играя: действительно ведь, как с ним обошлись государство и время — рассказать лет через триста — никто не поверит: просто-напросто обошлись без него. Тем хуже для них — это само собой, и пусть о своей глупости помнят вечно. И что это она, их глупость, чужая глупость его затерзала, не собственная — как ее ни переименуй: скажем, жалость. (Единственная страсть, которой не страшен ум: она высасывает из мыслей яд, тем и питается.) Затерзала, имейте в виду,

треволнениями не сплошь смешными, заботами, поверьте, поважней, чем прятать от одной женщины — другую (и свою связь с обеими — от всех) в городке, где вместо стен — глаза... Проклятое захо-лустье! Стекланный террариум на медленном огне, на вечном (о, нет! всего лишь пожизненном — как доход провинциального протопопы)... В любой дру-гой декорации подвернулась бы хоть какая кулиса, и за нею сюжет как-нибудь распутался бы, развя-зался, разорвался...

Двадцати двух лет (1689) Свифт подружился с восьмилетней черноволосой девочкой, при опекуне которой состоял домашним секретарем.

Иные, впрочем, подозревают, будто этот самый опекун — сэр Уильям Темпл — был отцом Стеллы, то есть Эстер Джонсон, — и отцом Джонатана Свифта тоже.

Стелла выросла, сэр Уильям скончался (1699), Свифт уехал в Ирландию. Разлука тяготила, — и че-рез два года решили так: отчего бы и Стелле не пере-браться в Дублин? не все ли равно, где дожидаться достойного замужества, особенно — если некуда спе-шить? а в Дублине, кстати, жить не в пример дешев-ле, тем более — вдвоем (в смысле — с компаньонкой; без компаньонки никак). А доктор Свифт обязуется приходить в гости так часто, как только позволят приличия, читать Стелле (и компаньонке, милой миссис Дингли) вслух, и рассказывать разные исто-рии, — короче говоря, будет счастье.

Надо заметить, что именно доктор Свифт был автором этого практичного проекта, — и добавить, что все свои обещания он исполнил — вплоть до того, что и счастье, наверное, было.

Только он все еще чего-то ждал от фортуны для карьеры — и не упускал ни одного случая побывать в столице по делам церкви.

В одной такой поездке (1707 или 1708) познакомился с приятным семейством: вдова с двумя молодыми дочерьми, с двумя подростками-сыновьями. В гостинице Данстэбла (миль за тридцать до Лондона) пил с ними кофе — напиток модный, экзотический, дорогой — впервые, кажется, в жизни попробовал. Он был в ударе, каламбурил, все смеялись. Одна из барышень — Хэсси, то есть мисс Эстер Ваномри, брюнетка — пролила свой кофе. Почему-то запомнилась.

В 1710-м опять оказался в Лондоне — и застрял там, чуть не ежедневно выпивая с первыми лицами королевства: так понравился, прямо покорило; вот не сегодня завтра эти люди под его влиянием повернут ход истории к лучшему, а его вознаградят, как сказано выше.

Из экономии ходил больше пешком, а парадную сутану и придворный парик, чтобы не изнасились раньше времени, надевал на полпути к дворцу, в доме вдовы Ваномри; пристрастился пить там кофе.

И через два с половиною года, устремляясь в почетную ссылку, писал ей с дороги:

«Признаюсь, мне частенько хотелось выпить хоть немного вашего крысиного яда, поскольку то, чем меня потчевали в пути, не заслуживает даже такого названия».

Есть в этом письме и прощальный жест в сторону ее дочерей:

«В Данстэбле мне не удалось обнаружить никаких следов кофе, пролитого Хэсси у камина, и у меня не оказалось под рукой бриллиантового кольца, чтобы написать на тамошних окнах имя кого-нибудь из вас».

Упомянутая Хэсси, или Миссэсси (а наедине со Свифтом — Ванесса), попыталась ответить так же легко:

«Мистер Льюис дал мне „Les dialogues des mortes” <«Разговоры мертвых» Фонтенеля>, и я настолько ими очарована, что решила расстаться со своим бранным телом, и пусть будет, что будет, разве только вы пожелаете беседовать со мной, ведь разговор с кем бы то ни было на свете несравним с беседой с вами. Так что, стоит вам захотеть — и я останусь, только говорите со мной, — и я буду счастлива остаться в этом мире».

Без памяти, видать, любила разумную английскую речь — и сама управлялась с нею в высшей степени толково — страшно вымолвить, а не хуже самого Свифта, на его беду — и на свою!

Положим, в молчании он был несравненно сильней — только его молчания она и боялась — из всех бедствий жизни, — но всякий раз (кроме самого последнего, лет через девять) этой женщине удавалось каким-нибудь стилистическим ухищрением отчаяния вымолить, вынудить, заслужить пощаду, то есть отсрочку.

«Если я, по вашему мнению, пишу слишком часто, то единственный для вас выход — сказать об этом прямо или же, по крайней мере, снова написать мне, я буду тогда знать, что не совсем вами забыта; ведь у меня есть все основания опасаться, что я теперь несколько не занимаю ваших мыслей, кроме тех минут, когда вы читаете мои письма; это и побуждает меня одолевать вас ими. <...> Если вы очень счастливы — то сколь жестокосердно с вашей стороны не сказать мне об этом, разве что ваше счастье несовместимо с моим. <...> Помните, вы не раз говорили, что готовы сносить небольшие неудобства, если только это может доставить другому огромное удовольствие. Умоляю вас, не забывайте этого правила, потому что оно имеет прямое отношение ко мне».

Декан собора святого Патрика — старый, больной, занятой человек — он ли не пытался поставить ее на место:

«Покидая Англию, я ведь сказал вам, что постараюсь забыть все, с ней связанное, и буду писать как можно реже. У меня и в самом деле было намерение написать всем моим друзьям, но по нездоровью я не смог его пока выполнить...»

Тщетно! В следующем году миссис Ваномри умерла, оставив старшей — двадцатисемилетней — дочери порядочный капитал, но и долги (в частности, солидный счет из Сент-Джеймской кофейни). Наследством и независимостью Ванесса распорядилась в духе присущего ей благоразумия: в августе 1714-го переселилась вместе с сестрой в Ирландию, куда, видит Бог, никто ее не звал! Наоборот — ее предупреждали:

«Если даже вы окажетесь в Ирландии тогда же, когда и я, то мы будем видеться с вами крайне редко. Это не такая страна, где можно позволить себе какую-нибудь вольность: там через неделю все становится известно и преувеличивается во сто крат...»

Предупреждали же, черт побери! А теперь приходится выписывать подряд целых три послания этой горестной зимы — первой дублинской *втроем*.

I. «И вот теперь, когда мои беды усугубляются тем, что я живу в неприятном месте, среди чужих мне и непомерно любопытных и лживых людей, чье общество не только не способно развлечь, но, напротив, служит ужасным наказанием, вы бежите меня и не приводите никаких иных объяснений, кроме того, что нас окружают глупцы и мы должны покоряться обстоятельствам. Я вполне согласна с тем, что мы живем среди таковых, однако не вижу причины жертвовать своим счастьем в угоду их прихотям. Некогда вы почитали за правило поступать



так, как находишь справедливым, и не обращать внимания на то, что скажет свет. Почему бы вам не придерживаться этого правила и сейчас? Помилуйте, навещать несчастную молодую женщину и помогать ей советами, что же предосудительного? Ума не приложу. Вы же знаете, стоит вам нахмуриться, и моя жизнь уже невыносима для меня. Сначала вы научили меня чувству собственного достоинства, а теперь бросаете на произвол судьбы...»

Стоп. Вот именно этот момент — суббота 25 декабря 1714 года — роковой. Тут бы — скомкав конверт — пройти сотню шагов, позвонить у дверей, сказать Ванессе про Стеллу, — и пусть уезжает или остается — как захочет; а ну как для нее прятки лучше жмурок. Или пойти в другую сторону и рассказать Стелле про Ванессу — тоже и в тридцать четыре жизнь прожита еще не вся — и пусть не уважает, если дура.

Свифт же совершенно потерялся. Пресловутый, хваленый ум оставил его. С мужчинами это случается. Верней, так случается с умом — буриданова болезнь: пойти направо — пошлость, налево — такая же... Соподчинить? Оставьте человека в покое! Вот уж доктор Фрейд когда-нибудь вам растолкует: любовью называется ложная идея, будто мадам такая-то предпочтительней прочих особ того же пола.

Ответ — в понедельник с утра:

II. «Я получил ваше письмо в субботу вечером, когда у меня были гости, и оно повергло меня в такое замешательство, что я не знал, как и быть. <...> Нынче утром моя домоправительница сказала мне, что до нее дошли слухи, будто я — — — — в некую особу, и назвала при этом вас, присовокупив еще двадцать подробностей <...> и что вы особа необычайно острого ума и прочее. Я всегда страшился сплетен этого гнусного города, о чем не раз говорил

вам, и именно по этой самой причине еще задолго до всего предупредил, что во время вашего пребывания в Ирландии буду редко с вами видеться. Прошу вас не тревожиться, если какое-то время я буду посещать вас реже и не буду оставаться с вами наедине. Если представится возможность, я увидаю вас в самом конце недели. Все это житейские условности, которые неизбежны и которым должно подчиняться, и тогда при благоразумном поведении всякие кривотолки постепенно утихнут».

Вот где он сподличал: оставил ей надежду — а сам хотел всего лишь тишины. Или не только — кто его знает: все-таки очень скучал.

Ванесса, разумеется, не успокоилась и, разумеется, сдалась — приняла тюремный распорядок свиданий: ради якобы будущего.

III. «Что ж, теперь я ясно вижу, сколь большое уважение вы ко мне питаете. Вы просите меня не тревожиться и обещаете видеться со мной настолько часто, насколько это будет для вас возможно. Вам следовало бы лучше сказать — настолько часто, насколько вы сумеете побороть свое нерасположение; или настолько часто, насколько вы будете вспоминать, что я вообще существую на этом свете. Если вы и дальше будете обращаться со мной подобным же образом, то, право, я недолго еще буду доставлять вам беспокойство. Невозможно описать, что я пережила с тех пор, как виделась с вами в последний раз. Пытка была бы для меня намного легче этих ваших убийственных, убийственных слов. По временам меня охватывала решимость умереть не увидав вас, но, к несчастью для вас, эта решимость быстро меня покидала. Так уж, видно, создан человек: нечто в его природе побуждает нас приискивать себе утешение в сем мире, и я уступаю этому побуждению и потому умоляю вас, приходите ко

мне и говорите со мною ласково. Ведь я уверена, что вы никого не обрекли бы на такие страдания, если бы только знали о них...»

Впоследствии Свифт еще ужесточил режим: ограничил свободу переписки.

«Было бы неплохо, если бы и ваши письма были такими же малопонятными, как мои, потому что, если бы их по небрежности потеряли посыльные, это не имело бы никаких последствий. Вот такой, например, чертой — — — — — можно обозначить все, что может быть сказано Кэду — — — — — в начале или в конце письма».

Кэд был один из его псевдонимов; несколько прозваний присвоил и ей; подписи не полагалось; обмениваться же мыслями — лишь о таких предметах, чтобы текст не мог заинтересовать решительно никого.

Возможно, вам покажется забавным, что у него это получалось еще хуже, чем у нее:

«...Кому как не вам знать, что кофей настраивает нас на хмурый, степенный и философический лад».

«Из-за отсутствия моциона я наживаю себе в этом проклятом городишке головную боль. Я охотно прошелся бы с вами раз пять-десять по вашему саду, а потом выпил с вами кофею».

«С тех пор, как я расстался с вами, я еще ни разу не пил кофей и не собираюсь этого делать, пока снова не увижусь с вами: никакой кофей, кроме вашего, не стоит того, чтобы его пили, если только я могу быть в этом деле судьей. — — — Adieu».

«Кэд — — — уверяет меня, что по-прежнему чтит, любит и ценит вас больше всех на свете и сохранит эти чувства до конца своих дней, но вместе с тем он умоляет вас не делать ни себя, ни его несчаст-

тным из-за ваших фантазий. — — — Без здоровья вы утратите всякое желание пить кофе и так ослабеете, что совсем падете духом. — — —».

«Скверная погода держалась с таким постоянством, что я еще несколько не ощутил благотворных преимуществ жизни в деревне, и похоже, что она и дальше будет такой же. Было бы бесконечно приятнее встречаться раз в неделю с Кендалом и прочее, иметь возможность проводить по утрам часа три-четыре за кофе или обедать *tete-a-tete*, а потом до семи опять попивать кофе».

«И помните, что богатство составляет девять десятых всего, что есть хорошего в жизни, а одна десятая — здоровье; а уж кофе занимает в ней куда меньшее место, но если все же посчитать его за одиннадцатую долю, то без двух предыдущих его как следует и не попьешь».

«Лучшее из всех известных мне жизненных правил — это пить кофе, когда представляется такая возможность, и спокойно обходиться без него, когда это невозможно».

«У нас с вами такое родство душ, что я чувствую себя сейчас недостаточно расположенным к писанию писем, поскольку для этого, я полагаю, необходимо хоть раз в неделю пить кофе».

Но довольно. Развязку оставим слепой судьбе, глухой сплетне.

— — — — —

Эстер Ваномри, Эстер Джонсон и Джонатан Свифт еще какое-то время были несчастливы, а потом умерли. Среди рукописей мистера Свифта нашелся запечатанный конверт с надписью: «Волосы женщины, только и всего». И точно — в конверте лежала прядь волос. Черная, как и следовало ожидать.

## Часть вторая: Не царям, Лемуил

Из жизни, какой бы ни оказалась, есть выход. Он мерцает ужасающе, и мы стараемся в ту сторону не смотреть, — но вообразите, что — заперто; скажем, замок заело — из вашего личного кода выпал некий знак. Вот удача хуже любого несчастья: телесное бессмертие — вдумайтесь — просто-напросто вечная старость.

«...Они перестают различать вкус пищи, но едят и пьют все, что попадает под руку, без всякого удовольствия и аппетита. Болезни, которым они подвержены, продолжаются без усиления и ослабления. В разговоре они забывают названия самых обыденных вещей и имена лиц, даже своих ближайших друзей и родственников. Вследствие этого они не способны развлекаться чтением, так как их память не удерживает начала фразы, когда они доходят до ее конца; таким образом, они лишены единственного доступного им развлечения.

... *Струльдбругов* все ненавидят и презирают...»

В 1726-м, когда появилось первое издание «Путешествий», мистериу Гулливеру стукнуло шестьдесят пять (он, между прочим, — вот совпадение! — погодок небезызвестного мистера Дефо; зато почти на тридцать лет моложе пресловутого Робинзона Крузо). В Лаггнегге, где встречаются эти самые струльдбруги, Гулливер побывал в 1708-м, сравнительно молодым. Он был тогда государственный и даже монархист, еще не влюбился в лошадиное вече. С отвращением разглядывая несчастных бессмертных, думал не о собственной когда-нибудь старости, а, как обычно, про политическую власть: счастье, что короли недолговечны, не то, пожалуй, — *finis historiae*, как раз ухнет в Застой.

«... Благодаря алчности, являющейся необходимым следствием старости, эти бессмертные захватили бы в собственность всю страну и присвоили бы себе всю гражданскую власть, что, вследствие их полной неспособности к управлению, привело бы к гибели государства».

Доктору Свифту — пятьдесят восемь. Он замолчит в шестьдесят четыре, умрет — шестидесяти семи.

Старость желательна краткая, опрятная, безмолвная. Но насчет продолжительности — вас не спрашивают, а что касается опрятности — все зависит от обслуживающего персонала, то есть в конечном счете — от вашего материального положения. Если в свое время хватило ума подлизнуться к вышестоящим дуракам ради мало-мальски приличного пожизненного дохода — нижестоящие будут обращаться с вами как с лордом, до последнего дня.

Бреют голову и щеки (подбородок выстригают), напяливают парик, облачают в сутану, натягивают туфли, трижды в день повязывают салфетку, кормят овсяной кашей, жареной говядиной, наливают красного вина.

*Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям — сикеру... Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею; пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании.*

Трижды есть, дважды спать — восемнадцать часов как не бывало. В сутках, к несчастью, — больше; но есть кресло — смотреть в разожженный камин; в биографиях упоминаются еще какие-то лестницы — «внутренние лестницы дома» — вверх и вниз по деревянным ступеням, вверх и вниз, все так же молча.

*Как раб жаждет тени,  
и как наемник ждет окончания работы своей,*

*Так я получил в удел месяцы суетные,  
и ночи горестные отчислены мне.*

Бездарность монархии ограниченной, неограниченной, вообще склонность государственной машины к человеческим порокам, равно и влияние глупости на развитие науки... Через три столетия читатель пожимает плечами: общие места против неизбежных зол; не все ли равно теперь, кто первый догадался. Например, Монтескье в «Персидских письмах» высмеял коварство политиканов, придворную низость, мишуру этикета — несколько раньше, чем Свифт, и даже острей.

Ну и остался писателем для горстки взрослых: здравый смысл да блестящий слог — наслаждайся кто может.

А Гулливер соскользнул вниз, в глубь ума — и там застрял.

И не с чем сравнить воздействие этих незабываемых словесных картинок (устроенных скорей как чертежи), опровергающих нашу реальность, столь невинно несомненную — точно такой же реальностью, но взятой в другом масштабе. Декан собора святого Патрика лучше всех знал цену своему изобретению; эффекты смаковал:

«Гулливера везут в столицу; он тушит пожар; придворные дамы в каретах кружат по столу, за которым он сидит; Гулливер стоит прикованный за ногу к своему дому; он тянет за собою вражеский флот; войска расположились на его носовом платке; армия проходит маршем у него между ног; восемь лошадей впряглись в его шляпу...

...Лучше всего было бы изобразить его засунутым по пояс в мозговую кость, или на крыше, в объятиях обезьяны, или стоящим на супружеском ложе фермера и отражающим нападение крыс...»

Занимательная стереометрия как пособие для мизантропа; какая все-таки отрада и свобода — глянуть на человечество свысока.

Глазами Гулливера.

Трусливого раба.

Ну, хорошо: руки и ноги привязаны бечевками к каким-то колышкам, вбитым в землю. И волосы пришпилены к земле, и туловище опутано как бы сетью. Но вот удалось высвободить левую руку, а рванувшись изо всех сил — повернуть голову. Стало быть, ничего страшного: еще несколько энергичных движений — бечевки лопнут, и свобода — и так далее. Подумаешь — осыпают стрелами: каждая не длиннее иголки; лицо прикрыть свободной рукой, а кожаную куртку не пробьют. Вставайте же, мистер Лемюэль Гулливер!

Пленник медлит. «Я рассудил, что самое благоразумное — пролежать спокойно до наступления ночи, когда мне нетрудно будет освободиться при помощи уже отвязанной левой руки; что же касается туземцев, то я имел основание надеяться, что справлюсь с какими угодно армиями... если только они будут состоять из существ такого же роста, как то, которое я видел. Однако судьба распорядилась мною иначе».

Что же случилось? Накормили, а также дозволили помочиться, только и всего. Но ублаженный Лемюэль тут же прекращает сопротивление. «Признаюсь, меня не раз искушало желание схватить первых попавшихся под руку сорок или пятьдесят человечков, когда они разгуливали взад и вперед по моему телу, и швырнуть их оземь. Но сознание (*слушайте! слушайте!*), что они могли причинить мне еще большие неприятности, чем те, что я уже испытал, а равно торжественное обещание, данное мною им, — ибо так толковал я свое покорное поведе-



ние (!!!), — скоро прогнали эти мысли. С другой стороны, я считал себя связанным законом гостеприимства с этим народцем, который не пожалел для меня издержек на великолепное угощение».

Ладно. Гулливер теперь гигант — добродушие гиганту приличествует. Торопиться ему некуда, приключение занятное, неудобства терпимы, и хотелось бы выпутаться, никого не калеча. Растоптать лилипута — не пожелаешь и врагу.

Однако ситуация осложняется. Опоили снотворным, перевезли в столицу, посадили на цепь — верней, на девяносто одну цепочку; правда, кормят прилично, и обучают местному языку — «и первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы его величество соизволил даровать мне свободу; слова эти я ежедневно на коленях повторял императору!»

Вам не кажется, что это уже слишком? Ни малейшего поползновения разбить эти часовые цепочки (а сабля на что? а пистолеты, пули? порох, заметьте, не отсырел) или разрушить конуру — или хоть пригрозить лилипутскому императору (не говоря уже — взять его заложником) — на худой конец, попробовать откупиться (золото в кошельке!)... Нет, наш гордый бритт предпочитает на коленях вымолить свободу; предположим, это военная хитрость. Или снисходительность, а то и деликатность: так и быть, малыши, доиграю по вашим правилам, как будто принимаю вас всерьез.

Вот его наконец расковывают: взяв письменное обязательство не покидать пределов Лилипутии, а также служить подъемным краном, курьером и прочее. «Я с большой радостью и удовлетворением дал присягу и подписал эти пункты, хотя некоторые из них не были так почетны, как я бы желал...»

Да уж. Но зато теперь — пошутили, и довольно! — эта игрушечная страна вся в его руках —

недурно бы, например, мобилизовать ее экономику на строительство лодки; настоящая-то, собственная-то жизнь — далеко за горизонтом; не для того пошел в рейс, чтобы до конца своих дней валяться в собачьей конуре, созерцая действующую модель британского госаппарата... И тут выясняется поразительная вещь: Гулливер за месяцы неволи успел превратиться в лилипута — стесняется своих габаритов, забыл о родине и семье — и свобода ему ни к чему. Роль подъемного крана — и пожарного брандспойта — его совершенно устраивает: «В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества...»

Ну и так далее. Лилипуты, вконец обнаглев, предлагают Гулливеру, чтобы он дал себя ослепить, — что же он? «Меня очень соблазнила было мысль оказать сопротивление; я отлично понимал, что, покуда я пользовался свободой, все силы этой империи не могли бы одолеть меня и я легко мог бы забросать камнями и обратить в развалины всю столицу; но...»

Удивительное, надо сказать, это *но*: «...но, вспомнив присягу, данную мной императору, все его милости ко мне и высокий титул *нардака*, которым он меня пожаловал, я тотчас с отвращением отверг этот проект».

Неземная наивность? Нет, наоборот: местная, цвета времени, сословная мораль. Это, видите ли, одно и то же. Скажем, в романах сэра Вальтера Скотта положительные исторические персонажи будут разглагольствовать именно так и поступать соответственно. Толкуют, что цель Свифта на этой странице — обелить репутацию некоего Болинброка: дескать, мой благородный друг и бывший покровитель, ныне опальный, в государственной измене обвинен облыжно; настоящий патриот, в смысле — верный вассал, не князь Курбский какой-нибудь; да, лет

десять тому назад сбежал в Блефуску (в смысле — во Францию), — а на переворот не покусился, хотя шансы на успех были неплохие, между нами говоря. И как это славно и справедливо, что в позапрошлом году король Георг его простил.

Совершенно не важно, что думал доктор Свифт о виконте Болинброке на самом деле. Но Гулливер тут выглядит слабоумным ничтожеством.

И по прибытии в Блефуску сразу «лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы».

И так на всем протяжении романа: Гулливер повсюду лилипут.

Ученый домашний зверь, безобидное чудовище, покорный слуга. В какой бы новый мир его ни занесло — первым делом отыскивает себе хозяина и ментально усваивает его кругозор, его масштаб. Совсем не чувствует собственного достоинства; приемыш и приживал, примерный пасынок хоть у непарнокопытных; весь — умеренность и аккуратность: смотрите, как хорошо я себя веду! опрятный! скромный!

Презирает свою породу: тупых ньютонов Летающего острова — наравне с грязными йэху в Стране лошадей,

Зато к великану (с особенной охотой — к малолетней великанше) просится на ручки.

*Редает облако, и уходит;  
так нисшедший в преисподнюю не выйдет.  
Не возвратится более в дом свой,  
и место его не будет уже знать его.*

Не вспоминая о Дон Кихоте (хотя давно ли доктор Свифт зачитывался Сервантесом?) — вообразим на минуту, что Робинзонов остров Отчаяния оказался бы владением королевства Бробдингнэг. География, понятно, протестует: океаны разные — там Тихий, тут Атлантический — то есть наобо-

рот, — но и это не важно: представим, что в один ужасный день над головой мистера Крузо раздаются голоса, подобные шуму водяной мельницы, и вроде как человеческое лицо склоняется к нему с двадцатиметровой высоты.

Самый вероятный исход — летальный; но если Робинзон не умрет на месте (скажем, от разрыва сердца) или не помешается — он не останется у великанов. Скроется при первой возможности, не сомневайтесь; затаится в какой-нибудь щели; отроет окоп, возведет подземный бункер и продрожит в нем до конца наподобие мелкого грызуна — лесного, ночного, непреклонного. Лишь бы остаться самим собой — Робинзоном Крузо, английским моряком и бразильским плантатором, тысяча шестьсот тридцать третьего года рождения, среднего ума, обыкновенного роста. Лишь бы остаться в своей вселенной — отвечающей его взгляду на вещи. В эту вселенную могут, конечно, вторгнуться какие угодно чудовища, в том числе и великаны (мало ли чего не снилось нашим мудрецам) — но на правах уродливых призраков — пусть хоть многотонных. Признать их действительность, их человечность — все равно что отменить самого себя; ведь существовать означает чувствовать себя настоящим; *таким, какой я есть*; если это я, моряк из Йорка, разгуливаю по столу меж тарелок и рюмок и отвешиваю поклоны, и падаю, споткнувшись о хлебную корку, — значит, я не моряк из Йорка и сам себе снюсь.

А вот Гулливеру — хоть бы хны:

«Я тотчас же поднялся и, увидя, что мое падение сильно встревожило этих добрых людей, взял шляпу (которую, как подобает благовоспитанному человеку, держал под мышкой), помахал ею над головой и трижды прокричал «ура» в знак того, что все обошлось благополучно».

Недостало бы у бедняги Робинзона ни кладно-кровия, ни сметки для столь стремительного метемпсихоза: с утра был джентльмен, учившийся в Кембридже, и жертва кораблекрушения, к полудню — говорящий хомячок, да какой веселый! да какой ласковый: «... не желая оставлять в ребенке злобное к себе чувство и вспомнив, как обыкновенно бывают жестоки наши дети к воробьям, кроликам, котяткам и щенкам, я упал на колени и, указывая пальцем на мальчика, всеми силами старался дать понять моему хозяину, что прошу простить сына. Отец смягчился, и мальчишка снова занял свое место. Тогда я подошел к нему и поцеловал его руку, которую хозяин мой взял и нежно погладил ею меня».

Поистине, господин Гулливер — существо без самомнения (после Шекспира, после Сервантеса — кто поверил бы, что Homo sapiens так жалок?); зато как мило справляет естественные потребности: «Отойдя ярдов на двести, я сделал знак, чтобы она не смотрела на меня, спрятался между двумя листками щавеля и совершил свои нужды». Как дотошна эта мнимая стыдливость! Помните — задра-лась выше пояса рубашка, и гнедой лошак подглядел, что «некоторые части моего тела совершенно белые, другие — желтые или, по крайней мере, не такие белые, а некоторые — совсем темные»?

Сильней, чем Гулливера, доктор Свифт прези-рал только читателя, поэтому не опасался доверить ему свою тайну: что в этой безотказной, безразмер-ной заводной кукле спрятал маленького мальчика, каким, по-видимому, прожил всю жизнь — обижа-ясь на судьбу, на королей, на женщин: за то, что не умеют ценить его по достоинству, то есть любить не заимообразно — к дьяволу расчеты и страсти! — а просто за гениальность.

Так отчаянно одиноки, как этот клоун Гулливер, мы бываем в рабских состояниях: в детстве да еще в старости. Поэтому книга получилась бессмертная.

*И зачем бы не простить мне греха  
и не снять с меня беззакония моего?  
ибо, вот, я лягу в прахе;  
завтра поищешь меня,  
и меня нет.*

Онемел он, я думаю, не оттого что оглох: наверное, заблудился в одном из кварталов собственного мозга и не сумел — не захотел? — выбраться наружу. Заперся в клетке (как они там называются? нейроны?) и сочинял роман, давным-давно кое-кому обещанный.

«Это должна быть точная хроника двенадцати лет, начиная с — — — — —, с того самого момента, когда был пролит кофе, и до времени, когда им часто угощались, то есть от Данстэбла до Дублина, со всеми происшествиями, которые имели место за все эти годы.

Там, конечно же, будет глава о поездке мадам в Кенсингтон; глава, посвященная волдырю; глава о поездке полковника во Францию; глава о свадьбе, с приключениями, связанными с потерей ключа; о подделке; о счастливом возвращении; двести глав о безумии; глава о продолжительных прогулках; и о нечаянности, имевшей место в Беркшире; пятьдесят глав о кратких мгновеньях; глава о Челси; глава о ласточке и кусте; добрая сотня глав о моей собственной персоне и прочем; глава о прятках и шепоте; глава о том, кто это натворил; и о деньгах моей сестры...»

Как вам это нравится, мистер Лоренс Стерн? Что до меня, то не знаю, чего бы я не дал, только бы заглянуть в главу о ласточке и кусте.

Между прочим, *swift* — звукоподражательное слово: в староанглийском означало ласточку.

Однажды, увидев себя в зеркале, пробормотал что-то вроде: «Бедный старик!»

А в воскресенье 17 марта 1744-го, «когда домоправительница забрала со стола нож, к которому декан потянулся, он пожал плечами и, покачиваясь на стуле, произнес: «Я такой, какой есть. Я такой, какой есть», — после чего спустя шесть минут повторил эту фразу еще два или три раза».

## ФОКУС ГАУФА

В таких же, как петербургские, невеселых нояб-  
рях, но цветных и потеплей, некто Вильгельм Гауф  
200 лет назад родился, 175 назад — умер. То и дру-  
гое с ним случилось в Штутгарте, стоящем на бере-  
гах Неккара, каковая речушка и поныне, конечно,  
протекает себе потихоньку по холмистым равнинам  
наподобие дрожащей, блескучей биссектрисы между  
буковым Швабским Альбом и еловым Шварцваль-  
дом. С вершины угла — да со стены почти любого из  
уцелевших замков! — бывшее королевство Вюртем-  
берг как на ладони: не более чем треть Ленобласти —  
максимум три Чечни. «Взоры достигают до самой  
нижней части страны совершенно свободно. Особен-  
но восхитительна картина Вюртемберга при утрен-  
нем солнечном освещении. Разноцветные поля напо-  
минают роскошный ковер...» и проч.

Гауф обладал — и то, как видите, недолго — ли-  
тературным даром вот именно вюртембергского зна-  
чения. Не всякий обзор немецкой словесности о нем  
упоминает. Даже и по случаю круглой даты итог  
бедняге подводят в дробях: дескать, спи спокойно,



«кладезь скромных, но полезных изобретений в тени большой литературы»!

И то сказать: какие тузы подвизались на поприще, где он внезапно произрос! Над этой невзрачной травкой — какие шумели дубы! Гауф щеголял в детском платьице — грянул гетевский «Фауст», первая часть. Гауф надел школьную курточку — Германию потряс «Михаэль Кольхаас», новелла Клейста. Гауф завернулся в черный плащ тюбингенского студента теологии — Э. Т. А. Гофман сводил с ума тогдашних умников — «Крошка Цахес» да «Повелитель блох». Гауф облекся в сюртук домашнего учителя — просвещенные немцы смаковали последний роман Жан Поля и «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Вот уже Гауф и сам — удачливый сочинитель, на нем нарядный фрак, — а что у него в руке? не последняя ли новинка? так точно: «Книга песен» Генриха Гейне, только что из типографии, представьте себе...

Никто из великих людей не удостоил Гауфа ни единым словом. Они же были титаны, сообща приподнимали над Европой небо, а он — прыткий эпигон, и в литературу ввертелся, как в сферу обслуживания: чего изволите? вот, не угодно ли, роман в манере Вальтера Скотта, а вот ироническая фантазия в духе Гофмана, а вот криминальная повесть о роковых страстях... А это — это просто сказки, тоже для безобидного препровождения времени — сувенирный набор.

За два года, как с цепи сорвавшись, тридцать шесть, что ли, томиков настрочил на все вкусы — сжег мозг и сгинул, как не был, эфемерида захолустья.

Кто поверил бы в те поры, что и через двести лет найдутся на него читатели, что его слабый тенор донесется до весьма отдаленных стран и сердец, а титаны так и застрянут, застынут в родном языке, ими самими же расплавленном?

Вы скажете — на счастливую карту поставил юноша — на товар нескончаемого спроса; попал

в жанр, услаждающий первичные потребности ума. Но это вряд ли вся правда.

Разве не замечали вы: нам читать сказки Гауфа вслух — интересней, чем детям — слушать? И, что характерно, лучшие страницы приходится иногда пропускать. Потому что лучшие — как раз те, где Гауф — литератор, прозаик, мастер: то есть нарочито и томительно тормозит, тормозит...

Пожалуй, только «Калиф-аист» устраивает ребенка вполне — поскольку, едва превратившись в аистов, калиф и визирь практически сразу отыскивают сову, а та, в свою очередь, только их и поджидает и с ходу предлагает план спасения; дело стало только за тем, что надо пообещать на ней жениться, — минута на размышление — так и быть: раз-два-три! — все снова счастливы.

А, скажем, «Карлик Нос» устроен куда искусней: говорящая гусыня хоть и дочь волшебника, но довольно долгое время пользы от нее никакой, лишь моральная поддержка, убогая чувствительная дружба; сколько случайностей (занятных, конечно, и забавных, реалистических таких) надо связать, чтобы Мими в поисках приправы для паштета наткнулась на ту самую травку, которая расправит карлика. Потом еще плыть с этой гусыней на остров Готланд (не ближний свет)...

Но вот наконец и она расколдована — теперь куда ж нам плыть? А — восвояси, к папеньке с маменькой, чтобы все стало как раньше, как если бы ничего никогда не случилось, как если бы славному мальчику Якобу привиделось во сне, что он сделался вдруг противным уродом и родители его разлюбили. Мнимопроисшедшее стерто, словно гуммиэластиком — карандашный арабеск. Дочь волшебника — прочь, и кулинарное мастерство — побоку, — несравненное, столь дорого доставшееся, столь заманчиво расписанное; бывшему Носу и в голову не взойдет им

воспользоваться; нет, наш красавчик подастся в лавочки, — чего еще нужно человеку, какого счастья? Лишь бы все оставалось в точности как было.

Вот и Маленький Мук — спрашивается, куда задевал семимильные туфли, кладоискательную тросточку? Как ребенку понять, отчего владелец таких прелестных предметов не знает и не ищет других радостей, кроме вечерних прогулок — под насмешливые выкрики соседской детворы — по крыше родного дома — того самого, кстати, где проживал когда-то с отцом, который его «недолюбливал, стыдясь его маленького роста»?

Где это видано — у Перро, у братьев Гримм, у Андерсена? — чтобы сказка изо всех сил устремлялась к своему началу, к исходному положению, к тому, чтобы все стало, как было?

Это, по-моему, фирменный фокус Гауфа: он работает с мнимым временем; подделывает мнимое время и продает. Поддельное мнимое время — оно ведь и есть вещество повествования. Разгоняемое мнимой скоростью, создает мнимое пространство...

В русской литературе был автор, чрезвычайно похожий на Вильгельма Гауфа. Его современник, ровесник, тоже графоман из дилетантов, тоже написал подряд несколько повестей и тотчас умер (тоже осенью). Повести его тоже трактовали о тщете попыток ускорения, и, например, знаменитый Белинский одобрял их презрительно: дескать, «от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем восторга; но они не будут тревожить его сна — нет — после них можно задать лихую высыпку!»

Разумеется, вы угадали: двойник Гауфа звался Белкин И. П. (1798—1828).

«Но готов побиться об заклад, — говорит Карлик Нос гусыне, — вы не всегда изволили носить это оперенье. В свое время я тоже был жалкой белкой».

## ТАЙНА КОЖАНОГО ЧУЛКА

Конечно же, Джеймс Фенимор. На тридцать седьмом году своей непроницаемой жизни, добываясь для путешествия по Европе дипломатического паспорта, он вписал в документы девичью фамилию матери как второе имя. Чтобы за границей вращаться в надлежащих кругах. Фонетика дворянская! Какой-никакой, а консул, да притом явно из старинной семьи, — а не просто мелкопоместный колониальный сочинитель.

Это был, надо полагать, воображаемый противовес титулу Вальтера Скотта.

В конечном итоге так и вышло: никто не говорит — сэр Вальтер, а про Купера каждый знает, что он — Фенимор!

Хотя из тридцати трех романов, написанных им за тридцать лет, хорошо если три остались в живых.

Благородная чепуха, театр чучел, великодушные жесты на фоне величественных пейзажей.

Кожаный Чулок — без страха и упрека, лучший из кем-либо когда-либо придуманных людей, — но нестерпимо, увы, словоохотлив, к тому же слезлив,

да еще неграмотен, вследствие чего простоват; наконец, излишне почтителен с вышестоящими — чуть ли не всю свою необыкновенную свободу тратит на роль преданного слуги!

Главное — что бы ни случилось, любой ценой доставить двух молодых леди — брюнетку и блондинку — в такое место, где они смогут наконец переменить белье и обнять седовласого отца.

Портрет блондинки: *«Нежные краски неба, которые все еще разливались над соснами, не были столь ярки и прекрасны, как румянец ее щек...»*

Портрет брюнетки: *«На незагорелом лице ее играли яркие краски, хотя в нем не было ни малейшего оттенка грубости...»*

Заодно уж и доказательство, что индейцы — тоже люди: *«Под влиянием нежных отцовских чувств всякий оттенок свирепости исчез с лица сагамора»...*

По-видимому, мистер Купер был графоман — но с добродетельным умом и, что важней, с необычайным даром воздвигать на пути персонажей внезапные препятствия в ту самую секунду, когда читатель изнемог.

Теперь подобные наркотики подешевели: промышленное производство, компьютерные игры, Дж. Хедли Чейз и все такое. А полтора века назад все просвещенное человечество зачитывалось творениями Купера, в одной России — человек пятьсот. И первый российский критик восклицал: выше — разве что Шекспир!

Но едва ли эта слава дочадит до новой круглой цифры. Уже и сегодня мало кто вспомнит: откуда такое прозвище — Кожаный Чулок?

Видишь ли, Чижик: на старости лет любимый герой Фенимора Купера нажил ревматизм, ведь в канадских лесах суровые зимы. И чтобы коленям

было не так больно и холодно, этот самый Натаниэль Бампо носил поверх мокасин длинные гетры из оленьей кожи.

Вот его и дразнили Кожаным Чулком.

По правде говоря, в детстве я пытался подражать его неслышной походке и беззвучному смеху. Он ничего не боялся! Он так хорошо стрелял! Он был самый одинокий человек на свете.

## СОДЕРЖАНИЕ

Краткая история оксюморона . . . . .	5
Жестокое удовольствие . . . . .	21
<i>D.</i> и <i>T.</i> своею кровью . . . . .	24
Гулливер и ласточка . . . . .	41
Фокус Гауфа . . . . .	63
Тайна кожаного чулка . . . . .	67

## В поэтической серии “Автограф” изданы:

- Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ  
**В. Салимон.** Невеселое солнце  
**И. Лиснянская.** После всего  
**Ю. Кублановский.** Памяти  
Петрограда  
**И. Бродский.** В окрестностях  
Атлантиды  
**Н. Кононов.** Лепет  
**А. Пурин.** Евразия и другие  
стихотворения  
**Е. Шварц.** Песня птицы на дне  
морском  
**С. Гандлевский.** Праздник  
**В. Гандельсман.** Там на Неве дом...  
**В. Дроздов.** Стихотворения  
**Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и  
Кларе  
**А. Цветков.** Стихотворения  
**Д. Новиков.** Караоке  
**И. Жданов.** Фоторобот запретного  
мира  
**Т. Кибилов.** Парафразис  
**Е. Шварц.** Западно-восточный ветер  
**Б. Ахмадулина.** Созерцание  
стеклянного шарика  
**В. Салимон.** Красная Москва  
**В. Зельченко.** Войско  
**Б. Кенжеев.** Сочинитель звезд  
**А. Битов.** В четверг после дождя  
**Л. Лосев.** Послесловие  
**И. Лиснянская.** Ветер покоя  
**В. Гандельсман.** Долгота дня  
**Е. Шварц.** Соло на раскаленной трубе  
**Т. Кибилов.** Интимная лирика  
**В. Павлова.** Второй язык  
**В. Кривулин.** Купание в иордани  
**М. Ерёмин.** Стихотворения
- Б. Ахмадулина.** Возле ёлки  
**Д. Новиков.** Самопал  
**Т. Кибилов.** Нотации  
**В. Соснора.** Куда пошел? И где  
окно?  
**С. Гандлевский.** Конспект  
**Б. Рыжий.** И всё такое...  
**П. Барскова.** Эвридей и Орфика  
**И. Лиснянская.** Музыка и берег  
**Л. Лосев.** Sisyphus redux  
**В. Дроздов.** Обратная перспектива  
**Т. Кибилов.** Among, exit...  
**В. Соснора.** Флейта и прозаизмы  
**В. Гандельсман.** Тихое пальто  
**В. Павлова.** Линия отрыва  
**В. Коваль.** Участок с Полифемом  
**Е. Шварц.** Дикопись последнего  
времени  
**Б. Ахмадулина.** Пуговица в  
китайской чашке  
**А. Поляков.** Орфографический  
минимум  
**Б. Рыжий.** На холодном ветру  
**В. Соснора.** Двери закрываются  
**С. Кекова.** На семи холмах  
**П. Барскова.** Арии  
**М. Степанова.** Тут – свет  
**М. Ерёмин.** Стихотворения. Кн.2  
**С. Стратановский.** Рядом с Чечней  
**А. Кушнер.** Кустарник  
**Е. Тиновская.** Красавица и птица  
**Т. Кибилов.** Шалтай-болтай  
**В. Гандельсман.** Новые рифмы  
**О. Чухонцев.** Фифиа  
**Л. Лосев.** Как я сказал  
**Е. Шварц.** Трость скорописца

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных книг обращайтесь в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала “Звезда”.

Информация по телефону: (812) 273-37-24, факс: (812) 273-52-56



Л 86

**Лурье С.**

**Нечто и взгляд (Новые трактаты для А.).** — СПб.:  
«Пушкинский фонд», 2004. — 72 с.

ISBN 5-89803-134-0

ББК 84. Р7

Лурье Самуил Аронович

**Нечто и взгляд (Новые трактаты для А.)**

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2004

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Тираж 500 экз. Заказ № 230.

Отпечатано в типографии ООО «ИПК «Бионт»

199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО., д. 86,

тел. (812) 322-68-43

*ПУШКИНСКИЙ ФОНД*